

ИТОГИ П. Д. БОБОРЫКИНА

(П. Боборыкин. «Столицы мира». — Тридцать лет воспоминаний.
1912 г. [М.]. Изд. «Сфинкс»)

У многих русских читателей существует иллюзия, что русская литература очень внимательно следит за жизнью Запада, что все более или менее выдающееся там тотчас же бывает отмечено, переведено и издано у нас.

Эта иллюзия мне знакома. Я разделял ее, пока, прожив много лет во Франции, не убедился в том, что необходимо по крайней мере пятнадцать, двадцать лет для того, чтобы все действительно значительное достигло страниц русских газет и журналов. Я говорю только о *настоящем* искусстве, потому что произведения второсортные переводятся тотчас же, — разные Генрихи Маны, Бласко Ибаньесы, Марсели Прево и др. — сразу выходят в полных собраниях сочинений. И это — вина не только издателей, подделывающихся под дурные вкусы публики, но и вина осведомителей, т. е. тех русских писателей, которые, живя на Западе, следят за движениями мысли и сообщают о них в русских журналах.

Образец — книга П. Д. Боборыкина «Столицы мира» (Тридцать лет воспоминаний о Париже и Лондоне).

«Автор этой книги — русский человек второй половины XIX века, который был поставлен в особо благоприятные условия для продолжительных наблюдений и жизненных испытаний на Западе», — говорит он сам в предисловии и выражает надежду, что эта книга «Итогов» вызовет в людях «более молодых генераций» «более широкое и беспристрастное отношение ко всему тому, что великие лаборатории европейской культуры — Париж и Лондон — давали всем нам в прошлом веке, дают и теперь». Действительно, по своей репутации человека разносторонне образованного, ко всему любопытного, романиста, схватывающего последний крик современности, убежденного западника, неутомимого путешественника П. Д. Боборыкин кажется предназначенным для роли осведомителя о последних течениях духовной жизни Запада.

Боборыкин жил в Париже годами, всегда интересовался вопросами мысли и искусства и некоторые области, как театр и роман, изучил систематически. Мы вправе ожидать от него действительного знания европейской культуры за последние полвека.

Но если отрешиться от всего литературного облика Боборыкина, забыть все случайно о нем известное и только внимательно вслушаться в тембр голоса и в интонации стиля автора этих «Итогов», кого мы увидим?

Это говорит человек пожилой, со средствами, путешествовавший по Европе всю жизнь, обладающий самоуверенностью и самомнением, любящий комфорт отелей, обладающий положительной эрудицией по части ресторанов, человек с твердыми и постоянными убеждениями в том смысле, что раз усвоенная им чужая теория навсегда засаривает его мозг и не допускает туда проникновения каких бы то ни было новых идей, — словом, один из тех умов, для которых воспринятая в молодости истина

становится болезнью, вроде идейного запора; разумеется, это «эгоист вполне», глубоко равнодушный ко всем людям, но любопытный до житейских обстоятельств: кто на ком женат, кто с кем живет, кто сделал какую гадость, и любящий, когда зайдет разговор о деятельности или творчестве известного человека, сейчас же припомнить несколько ходовых сплетен и инсинуаций; дальше этой осведомленности да неблагожелательной заметливости относительно некоторых черточек поведения — его знание человека не идет. Доминирующее чувство в его отношении к людям, это — пренебрежение. Из воспоминаний его явствует, что он презирает прежде всего всех тех, кто обращался с ним любезно, всех, кто младше его возрастом, всех, кто придерживается иных убеждений, чем он, и, кроме того, всех знаменитостей, которые имели несчастье с ним познакомиться до начала их славы. С уважением относится он только к тем, кого знал в годы своего учения, до тридцати лет, т. е. Литтре, Ренану, Тэну, Клоду Бернару; уважает и англичан вообще, особенно Спенсера и Стюарта Милля. Но уважает уже настолько, что отмечает, например, как событие, что в 1868 г. он сидел в расстоянии двух сажен от д'Израэли, по другую сторону в таком же расстоянии сидел Гладстон (стр. 158). И больше ничего не было: только сидели, ничего не говорили и, по-видимому, даже с Боборыкиным не были знакомы. Но потом он расспросил депутатов и узнал, что д'Израэли красит волосы и часто ходит в буфет подкреплять себя рюмками хереса, «будто бы даже с прибавкой капель опиума».

Что же касается французов, которые, как он сам не раз повторяет, принимали его гораздо любезнее, чем англичане, то он каждого из своих добрых приятелей старается чем-нибудь запачкать и скомпрометировать. О Гонкурах он спешит сообщить, что их пьесу освистали, потому что считали их «прихвостнями принцессы Матильды»; Гамбетте не может забыть, что знал его безвестным адвокатом, когда тот жил еще на шестом этаже, где Боборыкин был и видел его тетку, которую принял за бонну... «Так она была одета и таким тоном говорила» (стр. 124). В Жюле Валлэсе он нашел «яркие и малосимпатичные черты парижского литературного богемы, с раздутым сознанием своих авторских дарований». Видит ли он славного и несчастного Курье как подсудимого, во время трагического суда над коммунарами в Версале, — для него он «прославил себя тем, что руководил работами при низвержении Вандомской колонны. Жирная фигура, с сонным добродушным лицом» (стр. 148). Вот отзыв про Клемансо: «Хорошо, что Гамбетта умер не своевременною смертью. Может быть, и он кончил бы так же, как кончали на наших глазах вожаки радикального большинства палаты, например Клемансо... Ведь он одно время считался чуть ли не тайным диктатором... А *каким* я его нашел после того, как он провалился на выборах, в тесном, невзрачном помещении газеты „Justice“» (стр. 152). У Боборыкина есть наивная убежденность в том, что из всех тех, кто были с ним знакомы, ничего порядочного выйти не может. Ив Гюйо — министр публичных работ. «Да, этого Гюйо я знаю уже сорок лет... Бесшабашный газетный строчила. Мы с ним вместе были в одном литературном обществе!» (стр. 155). Локруа — морской министр? Да, ведь его первоначальной карьерой было

сочинение водевилей, и женился он на вдове одного из сыновей Гюго... (стр. 156). Дюма-сын? — Он же был женат на русской даме, которую московские старички еще и до сих пор помнят, и весь дом его, с дочерью хозяйки от первого брака и с теми, что родились от Дюма, производил впечатление чего-то разношерстного, и обвенчался-то он с ней чуть ли не «in extremis»* (стр. 169). Поэтесса madame Аккерман — «производила впечатление разносторонне развитой кумушки со своим редикюлем» (стр. 179). Золя из первого гонорара купил перстень в 500 франков. Альфонс Доде? Как же! — Я к нему пришел как раз в тот момент, когда его жена собиралась родить. Ее хорошенькое личико смотрело уже изнуренным; он показался мне истым чадом литературной богемы (стр. 188). А Мопассан все хвастался необычайным эротизмом и умер совершенным буржуа-сексуалистом, далеким от каких бы то ни было возвышенных порывов и чувств (стр. 190). Верлэн? — В бульварной прессе его скандальные нравы уже не отвлекали, а возбуждали нездоровое и все возрастающее любопытство (стр. 193). Анатоль Франс? — Многие молодые люди высоко ценят талант, манеру и замыслы его беллетристических вещей. Он успел себе завоевать имя и как литературный критик. Некоторые из моих парижских приятелей не раз предлагали мне познакомиться с ним; но как критика я не считал и до сих пор не считаю его носителем каких-нибудь новых идей и приемов, а в беллетристике его вижу талантливую игру в какой-то двойственный, полумистический, полупорнографический сексуализм (стр. 200). Жюль Леметр? Он ведь еще не так давно был безвестным учителем лицея в провинции. Успел уже очутиться в академиках и разменялся на медные деньги дилетантства. Поль Адам? Да вы знаете, что дело дошло до того, что этот самый Поль Адам весной 1895 г. в литературном журнале «Revue blanche» цинично напечатал формальную защиту нравов английского писателя Оскара Уайльда по поводу его приговора к двухлетнему тюремному заключению. «Это извращение нравственных устоев доходит прямо до садизма...» (стр. 201). В кабаре «Chat noir», бывшем школой целого поколения поэтов и художников, Боборыкин видит «дорогой кафе-шантан, выработавший особый вид зубоскальства и претенциозной эксцентричности на самые скабрёзные темы; там часто дебютировали сами сочинители слов и музыки перед избранной публикой виверов обоюбого пола, писателей, туристов и кокоток высшего и среднего полета (стр. 277). Путешественник Станлей? Ведь это же мой товарищ по газетной кампании 1869 г. в Испании! Богатый человек, живет открыто, делает приемы... Вот чего может достичь простой газетный корреспондент, вдобавок с очень малым образованием и с обыкновенным умением владеть пером» (стр. 309).

И на какой бы странице мы ни раскрыли этот толстый убористый том «Итогов», везде и всюду мы найдем такие же словечки и замечания. Он знал всех выдающихся мыслителей, литераторов и художников Европы за полвека и не научился говорить о них тоном иным, чем тот, которым

* перед самой кончиной (лат.).

петербургские чиновники говорят о служебных карьерах своих сослуживцев.

Итоги П. Д. Боборыкина о тех людях, с которыми он встречался, — убийственны для него.

«Столицы мира» помечены 1912 годом. Фактически они обнимают время с 1865 по 1895 г. «То, что дали самые последние годы прошлого столетия и самые первые XX, — предупреждает он, — прибавило бы мало существенного к этим тридцатилетним *итогам*. Я мог бы их дополнить до настоящей минуты. Но я этого не сделаю потому, что моя книга представляет уже нечто вроде исторического *документа*. Поэтому я только изредка ставлю поправки о некоторых деталях, изменившихся за последние десять лет».

Если же, прочтя эти строки, принять в соображение, что именно за эти 17 лет (с 1895 по 1912 г.) Франция пережила полную революцию в области литературы и живописи, а в области научной мысли вступила под новый знак, то мы ясно поймем, почему надо по крайней мере 15—20 лет, чтобы наши знатоки западной культуры успели нас известить о последних новостях идейных течений.

ГОЛОСА ПОЭТОВ *

Голос — это самое пленительное и самое неуловимое в человеке. Голос — это внутренний слепок души.

У каждой души есть свой основной тон, а у голоса — основная интонация. Неуловимость этой интонации, невозможность ее ухватить, закрепить, описать составляют обаяние голоса.

Об этом думал умирающий Теофиль Готье, говоря, что, когда человек уходит, го безвозвратнее всего погибает его голос. Недаром сам Готье так тщетно, несмотря на всю точность определений, старался пластически выявить обаяние голоса в своей поэме «Контральто».

Но Теофиль Готье все же был неправ, потому что в стихе голос поэта продолжает жить со всеми своими интонациями.

Лирика — это и есть голос. Лирика — это и есть внутренняя статуя души,¹ возникающая в то же мгновение, когда она создается.

И мы знаем голос Теофиля Готье отнюдь не по описаниям его, а по его стихам. Знаем юношеский, патетически расплавленный голос «Альбертуса», знаем и зрелый рокочущий и воркующий, быстроскользкий, густой, с отливами застывающего металла голос «Эмалей и камней».

Смысл лирики — это голос поэта, а не то, что он говорит. Как верно для лирика имя юношеской книги Верлена — «Романсы без слов».²

Мы знаем, как по-разному звучит один и тот же размер у двух поэтов только благодаря различным интонациям голоса; как блоковское «И вновь блеснув из чаши винной. . .» не похоже на «Мой дядя самых честных пра-

* Софья Парнок. Стихотворения. Петр., 1916 г. Осип Мандельштам. Камень. Стихи. Петр., 1916 г.